

ду коленями, — скажу тебе при всех в глаза: ты не права на сто процентов — ты права на все двести процентов! Овсеичу, если слышит тебя сейчас, бальзаму на душу на тыщу лет хватит. Да времена, Малая, не те, другие пошли у нас времена: и браним по-другому, и смеемся по-другому.

— Хорошо! — мадам Малая поднялась рывком, как будто подбросила невидимая пружина. — Смейтесь, как хотите и сколько хотите, но не надо забывать: смеется тот, кто смеется последний!

Клава Ивановна направилась к дверям, Андрей Петрович крикнул вдогонку, что не выпустит, но замешкался у стола и опоздал на какую-то долю секунды.

Зиновий сказал, что пришел с мадам Малой, с ней следовало и уйти, Марина ответила, ей и самой жалко старуху, но нельзя же забывать: в календаре хоть перебрасывай листы взад-вперед, а дни как идут, так и будут идти.

— И ты, Марина Игнатьевна, — ткнул пальцем Андрей Петрович, — не забывай и не спеши списывать гвардию в обоз. Тебе стихи Жоры-профессора по вкусу, тебе и Зиновию смешно, весело, а на самом деле, по большому счету, правда за ней, за Малой.

За окном, на Троицкой улице, сильный женский голос с хрипотцой, какая бывает с похмелья, выпевал на одной ноте:

Вышла б замуж за Хрущева,

Да боюсь одного:

Говорят, что вместо .уя

Кукуруза у него!

Марина зашлась в смехе, тут же подскочила к окну, свела створки и хлопнула плотно, чтобы не услышала у себя за дверью Зиновья.



## Мы были тогда молодыми...

Из цикла "Рассказы-воспоминания"

### 1. Лейтенант Жариков

Вообще-то он был даже старшим лейтенантом, командиром роты, но в моей памяти сохранилось именно это сочетание. В его роту мы и попали летом после четвертого курса института, чтобы завершить программу нашей так называемой военной подготовки. Месяц — кажется, именно столько полагалось пробыть в армейских лагерях неподалеку от Рыбницы на берегу Днестра, чтобы получить военный билет и офицерское звание. Но какие-либо подробности здесь не важны, поскольку запомнилось и вызвало желание все это зафиксировать совсем другое...

Мы прибыли на место, нас распределили по палаткам, выдали обмундирование — и мы тут же начали хохотать. Хохот этот продолжался дня два; причины его, правда, менялись. То мы, впервые в жизни надев военную форму и натянув сапоги, просто глянули друг на друга, то вдруг обнаружили, что фамилия у старшего сержанта, который командует нашим взводом, немецкая — Шумахер. То после первой в своей жизни команды "Отбой!" начали перекидываться грубоватыми, а для многих ушей и просто грубыми, шутками. Здесь я, правда, особой активности не проявлял, но хохот мой, помню, был самым громким и заразительным.

Наутро было построение. По инерции мы еще пытались изощряться в остроумии, причем столь же малоэстетичном, что и ночью, но грозный окрик сержанта Шумахера заставил нас подтянуться.

И тут мы Его впервые увидели. Нашего лейтенанта. Высокий, с загорелым чисто выбритым лицом, в портупее и с планшеткой на боку, он был... Ладно, скажу просто: перед нами был офицер, к которому абсолютно точно подходило определение "настоящий". Плюс к тому правильная речь, точные движения, доброжелательный и вместе с тем ироничный взгляд. Улыбнувшись на наше нестройное "Здравия желаем, товарищ старший лейтенант!..", он сказал, что очень рад, раз ему достались такие орлы, что за месяц мы должны стать офицерами запаса, что нам будет трудно, но он в нас верит. Ему шло все: форма, должность, звание. Даже фамилия у него была, как нам тогда показалось (а мне и до сих пор кажется), вполне офицерская. Ему вообще, если можно так выразиться, шла армия. Чувствовалось, что он здесь на месте...

Что сказать? Конечно, мы тут же в него влюбились. Тем более что он так контрастировал с сержантом, который, честно говоря, нам сразу не понравился. Поскольку оказался злым и мстительным. Такое часто бывает в армии, да и вообще в жизни, с теми, над кем подтрунивают. Ну, скажем, если у человека фамилия какая-нибудь забавная или, не дай Бог, дефект речи. Или рост не так чтоб уж очень... В нашем же случае весь этот букет был налицо. Да, сержант был именно таким — и мы были безжалостны. Он, понятное дело, в долгу не оставался и гонял нас по плацу как сидоровых коз. Хотя Сидоровых, Петровых и Ивановых в нашем взводе, честно говоря, было не так уж много. Все же институт наш назывался Одесский инженерно-строительный. Который являлся чуть ли не единственным одесским вузом, где к пятой графе при поступлении не сильно присматривались...

Но вернемся к сержанту. Главной дисциплиной на его занятиях, как вы, наверно, уже догадались, была строевая подготовка. Нетрудно и предположить, что это был его конек. Что же касается нас, то в смысле неумения выполнять строевые команды наш взвод на сборах вполне мог бы считаться образцовым. А поскольку равняться на нас другие подразделения почему-то не торопились, мы всегда были на виду.

В конце первого дня занятий, насладившись нашим строевым ничтожеством, и вне себя от каждый раз возникавших за его спиной хохотков сержант произнес слово "кросс". И добавил: "два километра". Мы разделались до пояса и, нестройно бухая сапогами, вяло побежали. Многие через минуту-другую начали задыхаться и переходить на шаг. "Не останавливаться! — злорадно подгонял нас сержант. — Это вам не институт, тут сачковать не получится! Вперед!.." Обливаясь потом, мы топали дальше. Наконец прозвучало долгожданное: "Шагом арш!..". И вдруг, буквально через секунду после этого: "Запе-вай!..". Ну изверг, одно слово!.. Никаких песен, конечно, петь мы не стали, и, как это ни странно, на первый раз он особенно не настаивал.

Мы еле-еле доволоклись до палатки и тут же улеглись. Кто в чем был. Многие пропустили обед...

Через неделю мы немного окрепли, но дружбы с сержантом Шумахе-ром все равно не получалось. Помню, нам как-то даже неловко было перед командиром роты, что мы никак не можем со своим комвзвода ужиться...

А сержант, наслаждаясь властью над без двух минут офицерами, придумывал все новые и новые каверзы.

Примерно через неделю, как обычно с трудом построившись после очередного кросса в колонну по четыре, мы уже довольно лихо распева-

ли невероятно популярную в то время строевую песню. Слова я до сих пор помню:

Путь далек у нас с тобою,  
Веселей, солдат, гляди!  
Вьется, вьется знамя полковое,  
Командиры впереди.  
Солдаты, в путь, в путь, в путь!..

Пели, помню, даже с некоторым удовольствием...

Но сержанту этого было мало. Когда мы, приблизившись к месту, где были сложены наши гимнастерки, уже приготовились в них облачиться, сержант вдруг вновь скомандовал: "Бегом арш!.." — и мы, пусть и нехотя, но все же побежали. Через метров триста опять слышим: "Шагом арш!.. Запе-вай!.." — а после первого куплета с припевом вновь: "Бегом!..". И так несколько раз...

Все, наша копившаяся враждебность наконец-то получила возможность выхода. Бунт грянул. Мы вышли из повиновения. "Встать!" — вопил Шумакер, бегая вокруг своего усевшегося на траву в полном составе взвода. Мы не двигались. "Ничего, через полчаса обед, побежите, как миленькие!" — злорадствовал Шумакер. Но мы и обедом решили пожертвовать... Ну лишь бы его проучить!.. Чтоб он знал, что мы не какие-нибудь там!..

Правда, насчет обеда, помню, единодушия особого не было. Но тут уже кто-то из наших, наиболее принципиальный и авторитетный (такие всегда в подобных ситуациях обнаруживаются), взял командование на себя и просто предупредил, что если кто окажется штрейкбрехером, то его отметелят так... Я обедать идти не собирался, но тоже довольно живо представил себе, как именно.

Короче, мы продолжали сидеть на обочине — будь что будет. Шумакер же буквально неистовствовал. Уже прошло время обеда, к нам прибежали из столовой, новость о голодной забастовке дошла до начальства. ЧП! В Одесском военном округе такого еще не случилось!.. Солнце начало клониться к вечеру, и тут появился наш командир. "Встать! — заорал Шумакер. — Смирно!". Мы довольно живо поднялись. Тем более что пришел человек, которого мы глубоко уважали. "В чем дело? Доложите!" — обратился Жариков почему-то не к сержанту, а к тому из наших, кто и для лейтенанта был у нас во взводе наиболее авторитетным. Тот довольно четко объяснил причину нашего неповиновения. Помню, прозвучало даже выражение "форменное издевательство". И тут случилось чудо.

Вместо того чтобы стать на сторону сержанта и напомнить нам, что

"приказы в армии не обсуждаются", лейтенант Жариков начал тут же, перед строем отчитывать Шумахера. И не просто отчитывать, а буквально стыдить. "Поймите, товарищ сержант, это же не просто без пяти минут офицеры, это еще и без пяти минут инженеры, завтрашние руководители производства. У них же под началом будут сотни, а то и тысячи людей, а вы их гоняете! Да еще с песней!.." Шумахер стоял потупившись, красный как рак, я до сих пор помню его залитое краской до самого подворотничка лицо. Мы были горды, груди наши изо всех сил выпячивались вперед, мы пожирали глазами нашего кумира. Справедливость восторжествовала, и он был ее олицетворением.

И вдруг Жариков опять улыбнулся. "Уже и пошутить нельзя!.. Извините, сержант, но что с этой публики возьмешь! Разве я не понимаю? Их и год в армии ничему не научит!" И странно: вместо того чтобы обидеться, мы тоже начали улыбаться. И даже хохотать, причем истерически. Что не удивительно, ибо этот наш смех был еще и голодным. "А ну бегом, там вас обед ждет!.. И побыстрее, смена уйти не может". Мы дружно ринулись в столовую...

Дальше все пошло быстрее. Сержант Шумахер нас, конечно, гонял не меньше, но то ли мы уже немного окрепли, то ли в наших отношениях чуть убавилось напряженности, — хотя бегали мы по-прежнему неохотно, но песни горланили с явным удовольствием. Лейтенант нами откровенно гордился, но предупредил, что "когда начнутся учения, вот тогда мы и посмотрим!".

И вот это день пришел. Точнее, не день, а вечер. В части была послеобеденная тишина, тот час, который называется "личным временем". Кто лежал в палатке; мы с моим дружкой Сеней Вайсманом дремали неподалеку на стожке свежескошенной травы.

Вдруг раздался отвратительный вой сирены. "Подъем! Боевая тревога!" — заорал как из-под земли выросший Шумахер. Буквально через минуту мы увидели и бегущего к нам лейтенанта и, помню, опять поразились его аккуратному, свежему виду. Еще четверть часа назад Жариков, казалось бы, стоял рядом с нами, запыленный после занятий по рытью полнопрофильного окопа — и вот он уже приближается к нам свежевыбритый, в белоснежном подворотничке, на боку неизменная планшетка. Мы, конечно, мгновенно вскочили и подтянулись. Каждому было дано задание на ближайшие сутки; учения — это было серьезно, в них участвовала вся наша дивизия, где студентов — будущих офицеров инженерных войск — было всего две роты. Кто-то должен был прокладывать дорогу, кто-то разворачивать понтонную переправу, нам же с Семеном поручили рыть землянку для Жарикова.

Сумерки стужались, где-то звучали очереди, издали слышался гул моторов, а мы опять хохотали, как ненормальные. В крошечной тьме наши записные остряки стали вновь изощряться в солдатском остроумии, мат густо висел в воздухе, и я помню, что опять не ощущал этой чрезмерной грубости — настолько она казалась здесь, в сугубо мужской армейской компании, естественной и уместной. Мы с Семеном нехотя тыкали лопатами в прибрежную глину, часто отдыхали, доедая подвезенный нашим столовским конюхом сухой паек, вздремывали на несколько минут, но, разбуженные очередным взрывом (причем иногда не только смеха), продолжали работу.

Постепенно наступил рассвет, учениям был дан отбой, землянка наша, конечно, никому не понадобилась, на следующий день мы приняли Присягу, а еще дня через два уселись в автобусы и поехали домой в Одессу.

Помню еще, что ехали мы долго, почему-то ночью, но никто не спал, и опять мы жутко веселились, а потом как-то дружно и одновременно стали петь наши строевые песни. А за ними и другие, причем выяснилось, что слова многие знают. Песен было море, но дорога была длинной, и некоторые из них повторялись. Скажем, "Вася-Василек" с до сих пор звучащим у меня в ушах припевом: "Ой, милоч, ой, Вася-Василек!.. Не к лицу бойцу кручина, сердцу воли не давай, если даже есть причина — никогда не унывай! Никогда не унывай!..". Но особенно охотно мы возвращались к знаменитой тогда и еще много-много лет потом песне "Соловьи". Вот вновь и вновь кто-то запекает:

Пришла и к нам на фронт весна,  
Солдатам стало не до сна.  
Не потому, что пушки бьют,  
А потому, что вновь поют,  
Забыв, что здесь идут бои,  
Поют шальные соловьи...

И тут мы все на два, а то и, кажется, на три голоса подхватываем:  
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.  
Пусть солдаты немного поспят...

А сердце замирает, и мы молоды, и едем домой, где нас ждут, а если и не ждут, то будут об этом очень скоро и очень сильно жалеть...

И тут репертуар опять меняется, и начинает многократно звучать и "Степь да степь кругом...", и волшебный, буквально пронизывающий счастьем душу романс "Однозвучно звенит колокольчик...". (Я знаю, что у поэта не "звенит", а "гремит", но мы тогда пели, а я и до сих пор пою

именно "звонит"...). Вдруг наш автобус внезапно останавливается. Водитель открывает двери, предлагает всем покурить и кому-то из наших объясняет, что хотя сам, как только мы тронулись, попросил нас петь погромче, чтоб не заснуть, но тут, когда песни стали протяжными, бороться со сном уже не в состоянии и должен побыть на свежем воздухе — все же людей везет. И мы тоже дышим полной грудью и вдруг видим, как вдали загорается полоска рассвета, как она прямо на наших глазах расширяется; и дальше, уже сидя в автобусе, больше не поем, а продолжаем следить за игрой космических сил, за борьбой света и тьмы и наконец видим, как появляется огненный краешек Солнца, как он становится все больше и больше, превращаясь в неправдоподобно огромный шар, довольно быстро, но все равно как бы нехотя вырастающий из-за горизонта...

Часа через полтора мы уже в Одессе, а еще через пару месяцев к нам в общежитие приезжает старший лейтенант Жариков — оказывается, перед нашим возвращением он с кем-то договорился. Узнали мы его, помню, не сразу, поскольку приехал он в гражданском костюме, сидевшем на нем как-то странно, — так нам показалось. Мгновенно возникает застолье, общий сумбур, кто-то, пытаясь потрафить гостю, тут же начинает сыпать солдатскими каламбурами, многие чувствуют, как это глупо и неуместно, а лейтенант вообще недоуменно кривится: мол, куда это он попал. Но выпито немало, все возбуждено, и вот я уже вижу Жарикова без пиджака, с чуть ослабленным галстуком, лицо покраснелось, — и тут становится совершенно ясно, что мы почти ровесники — разница в каких-то два-три года, и петь он, оказывается, совсем не умеет, и все наши потуги привлечь его к этому делу абсолютно бессмысленны. И тогда мы вновь, как за соломинку, хватаемся за сержанта Шумахера, хохочем почти искренне, но даже сильно навеселе понимаем, что все это так, к слову — не более, и что жизнь у каждого своя. И обещаем писать нашему лейтенанту, и клянемся почаще видаться, но в душе звучит все более отчетливо: нет, нет, теперь уже точно больше никогда, никогда...

## 2. Сухиничи-Главные

В конце шестидесятых и даже пару лет в начале семидесятых мы по телевизионным делам часто ездили в Москву. Знаменитым 24-м поездом с гордым и исчерпывающим названием "Одесса". Компания была веселой и в меру находчивой, как и та передача, в которой мы тогда участвовали. Так что ехали весело. Знали все остановки, высказывали из вагонов, даже

если стоянка была минутной, после чего — и это было особым шиком, — пугая проводников и пассажиров, впрыгивали на ходу в уже изрядно набравший скорость поезд. Словом, дурачились, как могли. Все молодые, беззаботные, преисполненные уверенности в очередной своей победе, всегда чуть навеселе. А тут еще и женская часть команды рядом, что делало иногда излишним алкоголь — и без того голова шла кругом.

Из промежуточных станций почему-то особой популярностью у нас пользовались Сухиничи. И не просто Сухиничи, а Сухиничи-Главные. Каламбурили по этому поводу кому не лень, соревновались, кто ляпнет большую глупость, хотя цели ставили, конечно, совсем противоположные. Понятно, что раз есть Сухиничи-Главные, то где-то должны быть и Второстепенные, и что названы они в честь одесского сухого вина, запасы которого, как правило, иссякали еще задолго до прибытия "Одессы" на Киевский вокзал Москвы. Причем иссякали именно в Сухиничах. И это притом, что в момент отправления у каждого из мужской половины команды был заготовлен под полкой чуть ли не ящик.

Я вспоминаю, как лучший актер команды в обнимку с тоже далеко не худшим стояли на перроне и чуть не плакали от умиления, что вновь вернулись в свои родные Сухиничи, где якобы прошло их счастливое детство, за которое, естественно, спасибо товарищу Сталину. Девчонки поощрительно хохотали, другие ребята хотя и завидовали, но, отдавая должное нашим звездам, тоже всячески их поддерживали, жизнь была прекрасна, и ничего более веселого, чем эти совместные поездки, я до сих пор в своей жизни припомнить не могу. А к вечеру в одном из центральных купе, куда ухитрилась набиться практически вся команда, мы репетировали наше предстоящее выступление в знаменитом московском Телетеатре. Да-да, в том самом — на площади Журавлева, на сцену которого мечтали тогда попасть хотя бы однажды многие наши ровесники. Во всяком случае, те, кто хоть в какой-то мере считал себя веселым и находчивым. И в конце репетиции, на закуску, обязательно были песни, специально написанные авторами команды для приветствий и домашних заданий; причем, как правило (и это было тогда, как сказали бы сейчас, нашим фирменным знаком), на классическую музыку. Бетховен под гитару, представляете!.. Но что нам аккомпанемент, когда в ушах сама по себе начинает звучать волшебная мелодия вступительной песни из приветствия, и мы дружно, в ритме движения поезда, начинаем:

Уже исчез вдали вокзал,  
И поезд наш спешит вперед,

Уже Москва и этот зал  
В воображении встает.  
А за окном бегут огни,  
К себе приковывая взгляд,  
И наши мысли, как они,  
Бегут назад.

Скажите нам, какой резон  
Грустить и думать о былом,  
Когда уйдет за горизонт  
Любимый город или дом?  
И почему всегда милей  
Издалека для наших дум  
И тишина его аллей,  
И моря шум?..

С тех пор я еще много раз ездил "Одессой" в Москву и каждый раз, проезжая эти самые Сухиничи-Главные, вспоминал нашу компанию, с грустью понимал, что все это уже никогда не повторится, и смотрел, смотрел в окно, живо представляя себе и лица своих друзей, и их замечательные импровизации, и становящиеся все более сомнительными для меня с годами наши "молодецкие" забавы...

Но Сухиничи-Главные я запомнил не только поэтому. Еще два случая, причем совсем не веселых, связаны у меня с этой до сих пор популярной среди моих друзей узловой станцией...

Однажды, когда, простояв положенные двадцать минут, состав наконец медленно тронулся, я заметил на соседнем, противоположном от вокзала перроне группу молодых ребят, которые вели себя как-то странно. Помню, за вагонным окном были ранние зимние сумерки, и поэтому я сперва плохо разглядел, что там происходит. Поезд набирал ход очень медленно, и я успел рассмотреть, что эта неспешная, словно в замедленной съемке, возня была не чем иным, как обыкновенной пьяной дракой. Причем ребята участвовали в ней совсем юные, лет по пятнадцать-шестнадцать, и одеты они были в какие-то чуть ли не одинаковые брезентовые робы. Их было не больше десятка; часть нелепо тузили друг друга, валяясь на земле, другие испуленно и тоже как бы нехотя дрались стоя, лица были синими от водки и мороза. Особенно меня поразила картина, как один из них, чуть ли не самый маленький, все совал и совал свой рас-

крытый перочинный ножик в бок паренька постарше, тот вяло отбивался, даже не отбивался, а просто пытался оттолкнуть руку нападавшего, который от бессилия чуть ли не плакал...

Поезд наконец набрал ход, дерущиеся ребята стали совсем маленькими, а я, как выяснилось, до сих пор помню эту жуткую картину, что открылась мне из окна вагона на российской, неподалеку от Белоруссии, станции...

То ли потому, что каждый раз, проезжая Сухиничи и вспоминая наши давние лихие проделки, я подолгу смотрел в окно, то ли это просто совпадение какое-то, но еще одна буквально потрясшая меня сцена открылась мне как-то из окна вагона.

И в этом случае поезд уже тронулся и тоже делал это очень медленно, и увиденная мной картина тоже разворачивалась на соседнем перроне, от которого несколько минут назад отошел поезд. И тоже были сумерки, но уже летние, и, наверно, поэтому то, что я увидел, запомнилось мне даже более отчетливо, чем безысходная драка пьяных мальчиков...

Два старых человека, и не просто старых, а прямо дряхлых от старости, тащили по перрону в сторону здания станции огромный, как мне тогда показалось, чемодан. Точнее, пытались тащить. Помню, в руках у них еще были какие-то кульки, которые они поминутно роняли, бессильными дрожащими руками пытались все это собрать и снова принимались за свой явно неподъемный для них кофр. И опять у них почти ничего не получалось, и они, обессилев, присаживались на него и так, прислонившись спиной друг к другу, отдыхали. Люди они, судя по всему, были интеллигентные: он в шляпе и, как это часто бывает у стариков, несмотря на лето, в плаще, она в темном, однако совсем не старушечьем платье и тоже в шляпке, даже, кажется, с каким-то пером. Причем возраст у каждого из этой пары, как я уже сказал, был запредельным, — их растерянные, с каким-то пепельным оттенком лица я очень хорошо запомнил. Стариков, видимо, кто-то не встретил, а может быть, и не должен был встречать, носильщиков, как это часто бывает, на всех не хватило, — вот они и остались одни на этом опустевшем перроне, по соседству с которым уже набравший скорость поезд увозил меня то ли в Одессу, то ли в Москву, "по делам или так, погулять" — вот уж чего не помню, того не помню...

